

Жизнь шла своим чередом, мы не знали, что впереди деревню ожидают ещё большие испытания, чем война. Особенно трудными на Вологодчине оказались два послевоенных года, 1946–1947-ой.

Мы всё время хотели есть: голод не оставлял нас ни на минуту всю весну от посадки картошки и до появления свежей зелени на лугах и в лесах. В нашей деревне умерли почти все старики. В моей семье не стало двух дедушек и двух бабушек. Они увидели меня, но я их не помню. Понятно, что в первую очередь они старались свой кусок отдать внукам. У нашей соседки тётки Марьи Балагуровой муж погиб на войне, остались на руках двое сыновей-подростков, наших ровесников, глухонемой деверь и два немощных старика. По деревне ходил слух, что она с умыслом заставила свёкра мыться в горячей русской печи, закрыв устье заслонкой. Достали его оттуда уже мёртвым. Этот случай привёл меня в детстве в ужас, и я больше никогда не заходила к ним в дом. Скорее всего, он умер от старости и голода.

Говорят, раньше и хлеб был вкуснее, и морковка слаще, и даже солнце светило ярче, и облака были голубее. Нет, не изменилось наше светило, и облака яркость и голубизну не потеряли, а вот что хлеб был вкуснее для нашего поколения, пережившего страшную войну и два послевоенных года – это точно. А особенно хлебный запах, ни с чем несравнимый, никаким словом непередаваемый аромат пекущегося хлеба для полуголодных детей. Этот запах остался с нами на всю жизнь. По его запаху на улице мы знали, в какой избе он сидит

в печи, и старались забежать в этот дом под любым предлогом: якобы мать послала за закваской для опары или щепоткой чая. Малому дитю в куске хлеба никто не отказывал, если он был. На вкус он был разный в те годы. Горьковатый из ячменной муки, рассыпающийся в крошку – с гороховой, упругий и как будто слегка резиновый – на 90% из крахмала и тёртого картофеля.

Но независимо от добавок, как была вкусна краюшка хлеба в моих руках, лишь бы она была почаще в них (мечтала я), посыпанная крупной солюшкой да со стаканом молока с душистой земляникой, которую мы собирали на лугу, где наши матери косили траву, а мы помогали её ворошить. При полуденной жаре собирались в тенёчке или в шалаше, растилали домотканые чистые тряпицы и садились все вместе кушать. Отварная в мундире холодная картошечка с зелёными сочными перьями дикорастущего лука, хрустящий молодой огурчик, разрезанный пополам и натёртый солюшкой с большим куском житного чёрного хлеба, что может быть в мире ещё вкуснее в те времена!

А хлеб, принесённый мамой в котомке из города, куда она с попутной okazji увозила на продажу несколько мешков махорки, сделанной всей семьёй с таким трудом, и где целый мешок у неё однажды спёрли воры, расплодившиеся в несметных количествах в те годы, уже не шёл ни в какое сравнение с лучшими яствами мира. Полугодовой труд семьи был равен небольшой котомке пеклеванного хлеба, купленного мамой на деньги от продажи махорки и почти налегке принесённый ею за плечами нам, детям. Наше поколение помнит эти котомки – холщовый мешок, в углы которого вставлялись две картошины или камешки, их туго завязывали верёвками или ремнями и закручивали на горловине, образуя заплечные ремни.

По весне (пока не пойдёт подножный корм) все сусеки выметали на сто рядов. За счастье считали достать овсяные отруби, замачивали и заквашивали их на сутки, процеживали в чугунок и заваривали, бросая туда раскалённый в печке у огня валун, получался густой кислый кисель с трещинами на поверхности, ели его с молоком. Лепёшки стряпали из белого болотного мха, на котором растёт клюква, или из мягкой сердцевины подсолнухов. Макушки красного клевера замачивали молоком.

Клетчатка вызывала страшные запоры, часами сидели в уборной на повети. Помню опухшую сестру Лиду, лежащую без сознания на койке. Длинные распущенные волосы мечутся по подушке. Как её удалось спасти, не помню. Но многих стариков деревни отнесли тогда на погост. Видимо, они старались накормить в первую очередь своих детей и внуков, не думая о себе.

2

В марте, перед моим днём рождения, я шла утром одна через огромное поле по насту к отцу на Ильдомовский хутор, где он жил с другой женщиной. Это поле памятно мне своими яркими красками не только в летнюю пору, оно неизгладимо стоит в глазах белой до синевы, накрахмаленной до хруста и слепящей глаза картиной чистого мартовского снега.

Яркое, высокое и приветливое солнце по-весеннему, радостно сияя, днями заметно пригревало, заставляя снег постепенно таять, оседать и уплотняться, ночами замерзать, образуя к утру плотный и надёжный наст. Моё маленькое сердце сжималось от горя и непонимания случившегося несчастья. Но послевоенная бедность и забота о моём здоровье, по-видимому, заставляли маму посылать меня каждую весну к отцу с просьбой сшить мне сапожки. Может быть, это была

инициатива отца, я не знаю. Он, ко всем его хозяйственным талантам и занятости (председатель колхоза), был умелым сапожником, но шил их только мне – его последней дочке.

До сих пор в глазах у меня стоит неизгладимая картина: маленькая шестилетняя деревенская девочка в больших, не со своей ноги, подшитых валенках и в клетчатой шерстяной шали на голове, завязанной крест-на-крест поверх ватной телогрейки (по-вологодски, «куфайки»), ранним утром шагает одна навстречу солнцу (и жизни) по чистому насту большого поля. Слезы застилают её глаза: то ли от яркого солнца, то ли от горя, то ли от предстоящей, неприятной для неё, встречи со второй семьёй отца.

При встрече я не припомню у отца на лице большой радости. Отец снимал мерку с моей ножки, и через неделю я уже примеряла готовые сапожки, ещё пахнувшие берёзовым дёгтем. Домой я приходила гордая и счастливая. Очень красивые хромовые сапожки шил мой отец! В мой день рождения я «форсила» уже в новых, ладных, ещё не совсем покрашенных красновато-коричневых хромовых, приятно пахнущих дёгтем и модно поскрипывающих сапожках. Тогда для скрипа между стельками подошвы клали бересту.

По словам моих старших сестёр, отец был скрытным человеком, спокойным, уравновешенным, никогда детей не наказывал и строго-настрого запрещал это делать маме, помогал им в учёбе по математике, приучил к чтению литературы. Многие годы и десятилетия я не могла простить отца за то, что бросил нас, семерых детей. Особенно обидно мне было за маму.

Мы всю войну так ждали его домой! Прощение в моей душе наступало постепенно, но, к сожалению, окончательное осознание его пришло после смерти отца. На фотографии его грудь украшают ордена и медали за различные «взятия». Я

поняла, что он был храбрым солдатом, значит, героем нашего рода. И теперь я уже три года 9 Мая хожу с его портретом в колоннах Бессмертного полка, и мужчины, идущие рядом, с уважением спрашивают: «Это ваш отец?» И я с гордостью отвечаю: «Да». Это Крестный Ход всего народа, Священная Память о Священной Победе! Слава отца перешла по наследству нам – его детям. Мои годы, жизненный опыт помогли мне понять и простить его.

3

С личных подворий за налоги отбиралось почти всё, и полностью всё сдавали государству из колхозных закровов. Только за льняную тресту давали небольшие деньги, поэтому с надеждой на какой-то мизерный расчёт на уборку льна выходили всем миром: и стар, и мал, всей деревней. Школы прекращали занятия. Лён только дёргали, а не жали, чтобы уберечь всю длину волокна. Вязали снопы, ставили их в суслоны для просушивания, а затем отвозили на гумно, где ещё доводили до кондиции на сушилке, аккуратно обмолачивали, а стебли везли на низкие пойменные участки реки, где расстилались рядами, и под действием солнца, ветра и осенних частых дождей они вымачивались и размягчались, превращаясь в тресту.

Лён, выращенный на домашнем участке сельчан, проходил ту же технологию, что и колхозный. Ткацкие станки, мялки и прялки были в каждом доме. Только сухую тресту потом отстукивали ручными мялками, удаляя кострицу и получая паклю-куделю. Зимой пряли из кудели пряжу, а затем на ручных станках ткали холст. В начале марта расстилали холсты по снежному насту для отбеливания на ярком весеннем солнышке и шили из него полотенца, порты и рубахи.

Льносемя просушивали, даже чуть прожаривали для запаха, в русской печке, а потом большим тяжёлым и высоким

пестом толкли, как у Бабы Яги, в огромной деревянной ступе, выдолбленной из цельного толстого дерева. Чем лучше протолчѐшь, тем больше выдавится масла. Мы, дети, часами толкли его по два человека, одному ребёнку было не под силу.

Затем давили толчѐнку в колодах. И колоды, и ступы, и жернова для размола зерна стояли на поветях. На всю деревню было две колоды – у Гали Балагуровой и Нины Поматиловой. Колода имела простое устройство из толстых деревянных чурок, от давности употребления отполированных и пропитанных маслом. Толчѐнку в холщовом мешке зажимали между двумя деревянными болванками и клином сжимали их, внизу ставили посуду для сбора масла. Мы всегда суетились рядом, как и при любой крестьянской работе, чтобы побыстрее попробовать ещё тёпленького свежего масла из нового урожая. Нам наливали его в блюдце, и мы макали чѐрным хлебом с солью, а чаще за неимением хлеба – варѐной картошечкой с лучком. Вкуснятина, жѐлтое, янтарное, чуть с горчинкой, как сейчас оливковое масло, только гораздо ароматнее его. Мой нос помнит этот запах уже несколько десятилетий. А жмых казался ещё вкуснее, всё съедали до крошечки – безотходное производство еды. Урожай семян льна с небольших приусадебных участков был невелик. Масла хватало ненадолго, только для пищи по великим праздникам. Изредка зимой на столе появлялись с блинами или картошкой бараньи и свиные шкварки (выжарки).

4

Ближе к весне сорок шестого года мама ушла откапывать на огород яму с картофелем, вдруг слышим страшный отчаянный крик. Что случилось, не поймѐм, побежали туда, оказывается, вся картошка в яме сгнила. А это много мешков и на еду весной и летом, и на посадку. У нас дом двухэтажный,

и поэтому не было в нём подвала (голбца), хранили картофель в ямах, которые копали осенью в сухую погоду, дно и стены обкладывали снопами ржаной соломы. Высыпанную в яму картошку, сверху закрывали толстым слоем соломы и выкопанной землёй. Большинство односельчан так делали, и никогда картошка не мёрзла, видимо, её в тот год «съела» фитофтора. Как мама выкрутилась из этой патовой ситуации, я уже не помню, но сажать её опять пришлось глазками и очистками. А на лепёшки по весне собирали на полях перемёрзшую и гнилую, мяся вязкую суглинистую землю и оставляя там давно износившиеся подошвы старых сапог.

Но как-то надо было выживать. Продукты леса, рек, лугов и болот (подножный корм) являлись основным, а зачастую и единственным, подспорьем у сельчан. Ели всё, что растёт на лугах и в лесах: пучки, сичины (разновидность рогоза), щавель, заячья капуста, дикий лук, дикорастущие ягоды, клевер, лебеда, болотный мох – и выжили.

В лесу ещё лежит снег, лёд на реках только что прошёл, и вот-вот начнётся разлив – весеннее половодье. На полянах уже расцвели чудные подснежники, зеленеет вечнозелёная заячья капуста. Мы перебираемся по лавам на ту сторону реки к церкви Никола и лезем на берёзы, ольхи и ракиты для проверки яиц в гнёздах. На голых деревьях они видны издалека, а затем печём их на оттаявшей поляне в костре. После долгой и не очень сытной зимы – это доставляет нам большое удовольствие – и развлечение, и игра, и весёлое полезное времяпровождение, а главное – еда.

Её добывали и на колхозных полях. Мы собирались ва-тагой и выбирали место на гороховом поле недалеко от кустов, чтобы быстрее скрыться от объездчика. Он был, как правило, на коне и с плёткой, далеко не убежишь, а в густых

зарослях кустов ему нас не достать. Зелёные стручки гороха клали за домотканые рубашонки, перевязанные верёвкой. У молодых стручков не выбрасывали даже крышки, чистили их от восковки, иногда замачивали в воде, они интересно и разнообразно закручивались, как рога у баранов, и от того казались нам ещё слаще.

А когда горох поспевал, то делали на нём небольшую площадку, утаптывали её и плети молотили палками. Но часто увлекались за этим мероприятием и не замечали коня с объездчиком. Тут мы разом рассыпались горохом в разные стороны, но кому-то одному из нас перепало плёткой или нагайкой, а остальные скрывались в кустах, но зачастую для острастки он просто сердито кричал. А турнепс мы ели сколько хотели. Поля с ним почему-то никто не охранял, и сеяли его тогда по всей стране, наверное, так старались повысить удои коров и привесы свиней, а фактически спасли нас.

5

Сбор «дикоросов» был радостной переменой труда и посильной помощью детей семье. Особенно запомнились походы за клюквой, морошкой и голубикой на болото к Исадам за деревню Лаврентьево. Готовились загодя. Мамой подбиралась компания.

– Марья Микитановна, ты намедни в Смолино-то ходила? А пощё не зашла ко мне-то на обратном пути? Пойдём-отко завтра на болото за клюквой? Карповские бабы-то уже во всю носят ягоды на базар в Вологду. Зови Ивана Ивановича-то с нами.

– Катерина Васильевна, надо-тко обязательно пойти. Глико, сколько я намедни картошки наспазгала. Вот так уповодками-уповодками и выкопаю всю.

– На-ко, девонька! Лёгок на помине, как сноп в овине! Иван Иванович, чего несёшь в пестере-то? Ты пощё такой расстроенный?

– Ой, бабоньки, девки меня перестали любить, шутит семидесятилетний Иван Иванович, – если возьмёте меня командиром, пойду с вами на болото.

– Лешой-лешой, сотона, всё бы тебе зубы скалить.

В корзины и котомки клали снедь, воду и молоко.

– Тоня, Рита, Галя, Лида, вы всё собрали, проверьте. Самое главное, соль-то не забудьте взять с собой. Она в поставце в горнице стоит. Без соли невкусно есть огурцы-то и лучок.

Вставали очень рано и шли по нижней дороге через деревню Лаврентьево, жители которого видели ещё последние сны, только пели первые петухи. Солнце своей верхней краюшкой скупо освещает землю, но «заставляет» сырой туман, стелющийся по долине, садиться в реку, и оттого кажется, что она парит. Зябко. Чтобы не провалиться, шаг в шаг шли по болоту за опытным поводом, находили хорошую ягоду, выбирали высокую сосну, привязывали на её верхушку яркую тряпку (место сбора), оставляли еду около и рассыпались вокруг собирать ягоду. От запаха багульника уже к обеду кружилась голова и подташнивало, но веселье за общим обедом под сосной скрашивало всю усталость. За один поход краснобоких и белобоких ягод мы набрали на всю зиму. Рассыпали её просушивать, а потом веяли и убирали в горницу дозревать, где она в пестерях будет стоять всю зиму, и ничего с ней не случится.

– Баушка, ты пощё клюкву-то не провияла в заулке, когда был витёр-то? – говорила мама бабке Варваре на следующий день.

Она ей дала целое ведро ягод на зимние кисели. Мама брала ягоды всех быстрее и никогда меньше трёх-четырёх вёдер в котомке не приносила. Рвали клюкву только руками. Мама до конца жизни не переучилась разговаривать по-сибирски.

– Товарка, лонись было грибов в нашем лесу-то не густо. А нонче хоть телегами таскай. Я намедни набрала большой пестерь сырых груздей и рыжиков.

– Ой, товарка, с тобой соревноваться бесполезно: всех обгонишь в любой работе.

6

Все дети очень любят сладкое, и мы были не исключением. Наши мамы старались восполнить его недостаток разными хитростями, изобретая блюда из обычных овощей. Кочанную белую капусту резали большими кусками, плотно укладывали в чугунок, закрывали и ставили в протопившуюся русскую печь до вечера. Пареная капуста приобретала коричневый цвет, становилась ароматной и сладкой. Даже спустя десятилетия по приезду на Малую Родину к двоюродной сестре мы втроем съели целый чугунок, и она показалась такой же сладкой, как в детстве. Также поступали с морковкой, репой, тыквой и свёклой. Варёная, резаная сахарная и обычная бордовая свёкла, разложенная тонким слоем на противни, сушилась в вольном жаре печки, превращаясь в вяленый сладкий десерт, почти как пастила. При этом она становилась гораздо слаще, и мы её с удовольствием грызли и сосали вместо конфет. Иногда маме удавалось после продажи махорки и крахмала привезти из города сахар. С добавлением клюквы из него делала леденцы. А если была «дунькина радость» – вождельённые карамельки-подушечки для угощения по большим праздникам, спрятанные в укромных местах, мы почти всегда находили и уменьшали эти запасы до неузнаваемости. Особенным нюхом у нас отличалась старшая сестра Лида, от неё ничего невозможно было спрятать, всегда найдёт, но, к её чести и в защиту, надо сказать, найденным кладом она всегда с нами делилась.

7

В голодный 1947-ой год мама отдала меня в деревню Карповское к знакомой вдове в няньки. Однажды, после сильной

грозы, а вологодские грозы бывают страшные, сопровождаемые зачастую ударами молний в сараи, дома, стога сена, и пожарами, хозяйка доила корову, попросила меня подать ей ведро для телёнка. Вдруг как верескнёт, телёнка, стоящего рядом, убило, а меня с хозяйкой оглушило. Соседи на улице закричали: «Крыша горит, пожар!» Быстренько пожар залили надоенным молоком, а тропический ливень не дал ему разгореться. В это время я в панике бегала по селу с книгами, не зная, куда их спрятать, осенью я должна была идти в первый класс. Сразу после грозы меня пришла проведать мама. Я плакала и умоляла взять меня с собой:

– Здесь так страшно без тебя, много работы, ребёнок тяжёлый и плакса.

Мама обещала взять меня вечером, после того как она сходит по делам в соседний Егорьевский хутор. Но вот уже и солнце давно село за горизонт, а её всё нет и нет. Я незаметно беру букварь и тайком убегаю домой одна. До моей деревни идти восемь километров по сплошному лесу и болоту.

По этой дороге на лошадях ездили только зимой, когда замёрзнут болота. Не описать всего ужаса, который я испытала, когда бежала по лесу одна. В еловом лесу и в солнечный день темно, кроны смыкаются аркой над дорогой. На болотах лес расступается, но гати старые и гнилые, ноги скользят по ним как по льду, брёвна ныряют вместе со мной, я цепляюсь за них, вылезаю на сухое место и снова бегу, боясь смотреть по сторонам – вдруг кто-то выйдет, зверь или дезертир, которые ещё водились в те годы. Увидев меня, мама поняла моё состояние и больше не отдавала меня в люди.

Много специальностей было в колхозе у мамы – и свинарка, и птичница, и овощевод, и пекарка, и жница, и косарь, и скир-

дометатель, и сторож, причём некоторые из этих обязанностей в течение суток плавно перетекали друг в друга. Напротив нашей деревни на том берегу Шингаря стоял курятник. Мне он казался огромным и недостроенным, а вокруг весь луг был белым от перьев и высохшего помёта. Куры неслись в самых неподходящих местах – в густых зарослях крапивы или под птичником, куда взрослый человек, даже тощий, ни под каким предлогом не мог пролезть. Приходилось эту работу выполнять детям. В узком и грязном пространстве между полом и землёй мы не раз и не два застревали, да ещё и яйца при этом надо было аккуратно вытащить, не разбив их. С тех пор я боюсь замкнутого пространства – в городских метро и лифтах на меня нападает, выражаясь по-научному, клаустрофобия.

Какие только эксперименты не проводили в нашем колхозе. Разводили коров, овец, лошадей и свиней. На весь Союз гремела в нашем районе свинарка Люскова, на которую работала, в том числе, и наша мама. Весь приплод, который получала от свиноматок мама, записывали в её актив. У нас на стене в рамке долгое время висела в красивой большой рамке Почётная грамота с ВДНХ. Маме дали грамоту как участнику выставки, хотя она в Москву не ездила. Так создавались Советами маяки производства.

А сколько горя мы, дети, вытерпели от этих свиней. Когда мама с другими колхозницами угоняла гурты свиней в Вологду на мясокомбинат, мы с сестрой Ритой оставались за неё на свинарнике. В это время свиней кормили клевером, который мы сами и косили. Даже мужчинам клевер косить очень тяжело, а для нас, девочек-подростков, это была непосильная работа. Мы сами запрягали старого куражистого и хитрого, но любимого нами, мерина по кличке Копчик. Он как будто понимал, что мы дети, и играл с нами. По десятку раз

приходилось заводить его в оглобли, а он каждый раз переступал их и отворачивал «корму» в сторону. Косили, грузили траву на телегу и везли на свинарник, где кидали тяжеленные охапки клевера в высокие клетки орущим, голодным и злым пороссятам. Попеременно меняя кормление клевером и травой с картофельной болтушкой, у свиней нарастал то слой мяса, то слой сала.

Мама часто сдавала своих подопечных на бекон и не раз получала за хорошую работу после войны премии живыми маленькими молочными пороссятами на откорм в личное хозяйство, а до войны однажды вручили даже борону, которой, запрягшись по несколько человек, наши матери бороновили свои огороды.

В жаркие дни мы выгоняли поросят пастись на подножный корм в излучины рек и вставали в узком перешейке, чтобы видеть всё стадо и не пускать его на колхозные и крестьянские поля. Поросята, как бегемоты, закапывались в любимом ими илистом и сапропелевом мелководье. Через некоторое время им это лечение надоедало, нападал жор, и тут же находился среди них вожак-заводила и выводил их на «чистую» воду, лично показывая им свой пример плавания «брасом», приглашая переплыть на тот берег, на частные огороды, где росла сладкая и вкусная молодая картошка.

Огромного труда нам с сестрой стоило их выгонять оттуда, по пути выслушивая разные нелестные эпитеты в наш адрес за обжор поросят. А свиноматки перед опоросом убегали в укромные места в непроходимые кусты и кочкарники, и мы их искали по несколько дней, плача и трясясь от страха за маму, что её могут упечь в тюрьму за недостачу, оставив нас круглыми сиротами. Но поросюхи находились, как по мановению палочки волшебника, выходя с целым выводком поросят на мамин голос.

Я навсегда запомнила мамины рассказы, как они с подругами гоняли гурты свиней в областной город на убой. Она родилась и выросла в деревне, где не было реки, а только пруд, поэтому плавать не умела. А многокилометровый путь в Вологду пересекал не одну реку и ручьи. Самая крупная река перед городом – Лежа, приток Сухоны. Она была для неё особенно страшной. Моста тогда через неё не было. Поросята перед этой водной преградой вставляли как вкопанные и не хотели заходить в холодную осеннюю воду или разбегались далеко от переправы, иногда теряясь при этом. Подолгу приходилось их искать и снова, и снова загонять в реку, а самим переплывать эту водную преграду на плоту. И как только очередной раз мама эту реку видела перед собой, так сразу от страха её настигало расстройство желудка.

Мне река Лежа в детстве по маминым рассказам представлялась огромной и дикой с быстрым течением и ревущими водами, но увидев её (будучи взрослой), я изменила своё мнение – она оказалась равнинной спокойной рекой шириной с нашу сибирскую Иню в районе станции Крохаль, но до сих пор я не представляю, как бы теперь через неё стала переправлять без моста и брода стадо свиней.

9

У детей была одна забота и мечта – расти в родном доме в тепле и сытости вместе с мамой, больше времени тратить на игры. А для наших матерей без мужчин навалилась куча проблем: напоить, накормить, обууть, одеть нас, трудиться день и ночь не только за себя, но и за ушедших на фронт мужчин: и за мужа, и за того парня, и за своего сына.

Что наделала война? Сколько она порушила семей, изломала вековой крестьянский уклад. За долгие годы войны и жизни без семьи некоторые мужчины отвыкли от жён и родных детей.

Постоянная угроза жизни, картины смерти каждую минуту меняли у них отношение к семье и своим обязанностям перед ней. Многие мужчины пришли пристрастившимися к водке, до войны такого пьянства в деревнях не было.

После войны маму отец бросил. Шестнадцать лет прожили они до войны в мире, согласии и любви, родили семерых детей. Разве можно без этого родить столько детей! Маминому отчаянию не было предела. Только чудом мы не остались сиротами. Когда наступила голодная зима 1945–1946 годов, она решила утопиться в проруби. Легла на край её и, видимо, уже хотела нырнуть, как вдруг кто-то взял маму за воротник фуфайки и, удерживая, сказал: «Иди домой, там тебя ждут ещё четверо малых детей». К тому времени двое старших детей уже выросли, одна дочь одиннадцати лет умерла, а сын даже успел повоевать и жениться. Что это было и кто – непонятно. Наверное, Господь. Эту историю она рассказала нам, когда мы были уже все взрослыми. Как тяжело ей было одной поднимать нас на ноги. Когда выросла, поняла, что это время было особенно тяжёлым для наших матерей, а не для нас – детей.

10

Как плакала мама, когда у нас погибала корова-кормилица в середине июля в самую жару сорок седьмого года. Успели её зарезать, но продать мясо в городе, до которого надо было ещё плыть на колёсном пароходе всю ночь, не смогли, оно потеряло товарный вид, и его пришлось раздать городским родственникам и знакомым в качестве гостинцев. Это была у нас последняя корова на вологодской земле.

Дочки, мои сёстры, уже подрастали, и надо было думать об их замужестве. С сыном было проще – его с радостью взяли в примачи – женихов тогда не хватало, и затем он купил себе

небольшой домик. А своим девкам, как она нас по-деревенски называла, всегда находила какую-то возможность купить или достать что-то новенькое – или резиновые ботики, или платишко, или туфельки, конечно, благодаря её непосильному труду и предприимчивости. Если бы не было войны, как бы счастлива была мама и, может быть, пожила бы подольше на нашей земле. Когда мы отмечали её 70-летие, я спросила, любила ли она своего бывшего мужа. Ответ был неожиданным для меня: «Я люблю его до сих пор». Вот достойный пример нам и многим современным молодым людям, не верящим в верность до гроба.

Поющую маму я не видела и не слышала в годы войны и после неё ни разу, хотя все говорили мне, что у неё прежде был красивый голос. Видимо, заботы и горе навсегда придавили её интерес к пению, хотя нашу любовь к нему она всегда поощряла и пестовала, гордилась нами, любила слушать нас и певицу Русланову Лидию. Мама часто повторяла при разговорах: «Хорошие у меня дети выросли – и сын, и девки. Ими я счастлива».

Голод и нужда для меня – всё нипочём, ведь рядом всегда была моя родная мама, старшие сёстры и брат. Они жалели, защищали и любили меня как самую маленькую девочку в семье.

